

Галина ЩЕРБАКОВА

МЕТКА ЛИЛИТ

Здесь и сейчас

Мой приятель как-то сказал мне: мусор нельзя выносить после шести часов вечера. Не к добру!

Бестолковая моя жизнь: в молодости в любое время таскала ведро на улицу в специальную яму, в хрущевские времена пакеты в контейнер забрасывала чуть издали, чтобы попасть, по причине отсутствия правильного, то бишь высокого роста. А уж когда дожила до мусоропровода, распоясалась совсем. Бегала «в него» когда хотела и горя не знала. И вот нà тебе: «Ну кто не знает, что мусор не выносят вечером?» С тех пор у меня бзик — я выношу его только по утрам. Так было и в тот день. Я несла ведро, когда муж ушел на работу.

В коридоре каждую минуту мигала, пищала и гасла испорченная лампа дневного света. Поэтому я и наткнулась на мужчину. Он лежал под батареей — естественно, бомж, пьяница, без вариантов, а тут я — легкая добыча при исчезающем свете. Вопрос только — для чего? Ворваться в квартиру — он видел, как уходил муж. Изнасиловать? Убить?.. Тогда он идиот. А свет, как говорят дети, то потухнет, то погаснет.

— Женщина, не надо меня бояться. Мне бы кружку кипятка, иначе сомкнется горло, — голос у него действительно был не просто хриплый, а как бы сросшийся.

— Щас милицию вызову, — закричала соседка, вышедшая из лифта. — Разносят тут всякое дерьмо, заразу и вонь. — И она быстро шмыгнула в квартиру.

— Можете вынести просто в банке, чтоб не жалко было выбросить.

Какой у меня выбор? Милиция? Вернуться домой и запереться на все замки? Или все-таки вынести кипяток?

Я выбрасываю мусор, опять гаснет свет, и я обхожу его подальше, чужака, испытывая испепеляющий стыд за себя самую. Он ведь не кинулся за мной, не уцепился за халат. Он только чуть приподнялся, не отрывая спину от батареи. И решив, что я с ним справлюсь, на всякий случай я все-таки кладу в карман пшикалку от запаха табака, и выхожу с пол-литровой кружкой кипятка в стареньком полотенце.

Он берет ее дрожащими руками. В это время идиотская лампа снова гаснет. И я считаю, что миссия моя окончена, черт с ней, с кружкой, но опять загорается свет, и я успеваю увидеть его глаза. Серые, как бы протянутые к вискам, когда-то (боже, когда?) я им удивилась, а потом поняла, что

это не глаза неправильно поставлены, это так выросли ресницы — стрельчато, как придумали поэты.

Но человека этого я не знаю, и те неправильные добрые серые глаза были так давно, что мне никогда не вспомнить. А может, их и не было вовсе. Просто увидела их в кино и впечатлилась. За мной водится такое свойство — запоминать ненужное.

Как он может так быстро глотать кипяток?

— Еще бы кружку, и я бы выжил, — говорит человек.

Нет! Нет! Я ни за что не возьму в руки *эту* кружку. Я выхожу к нему с чайником и наливаю, а у него дрожат руки, исполосованные рубцами.

Он пьет медленнее, чем в первый раз. В моменты света я вижу, что он одет не по погоде. У нас нынче плохая, сырая осень, а на ногах у него сандалии на босую ногу.

— Старый мудрый чеченец Вахид, — говорит он мне вдруг, — с которым я провел одну ночь в горах, научил меня лечиться кипятком, снегом, землей и травой. Когда нет ничего другого.

— Я вам дам плащ и кроссовки...

— Не надо, — отвечает он. — Доберусь. Мне в Забабашкино, к другу.

Но я кидаюсь в квартиру. О это вечное проклятое незнание, где что лежит, когда позарез

нужно. Я хлопаю дверцами шкафов, тащу мешок с антресолей, но когда выхожу с моими жалкими пожитками, человека уже нет. Стоит кружка, в нее всунуто полотенечко. На стене авторучкой написано: «Спасибо».

Я боюсь заразы, но беру кружку и тряпицу. Они не оставили запаха чужого человека, они пахнут моим домом. Я вынимаю полотенце, и из него выпадает камень — кривой, зазубренный. Я беру его в руки, он теплый от полотенца и как бы дышит. Дома кладу его на подоконник. И снова вижу глаза, которые были в моей жизни сейчас и когда-то. И еще я вспоминаю небритость, которая уже чуть-чуть и бородка. И все это было так близко ко мне, к моему лицу. Я пожилая дама, но, черт возьми, мужчин своих я помню. Но не про них речь. Меня заклинило.

Зато я почему-то ясно вижу старика, который учит лечиться кипятком, снегом, землей и травой. Но его-то я никогда не видела ...Вахида. Чушь какая!

Я поила бомжа с войны, и теперь зачем-то знаю имя чеченца Вахида. И знаю, как он выглядит. У него горбатый кавказский нос и булгаковский острый подбородок. И откуда это странное ощущение родства, пришедшее через небритость и удивительные глаза, которые когда-то, когда-то были очень мне близки?

Бред? Все может быть. Вся наша жизнь бред. Пока она жизнь. Как это в Откровении? «Неправедный пусть еще делает неправду; нечистый еще сквернится, праведный да творит правду еще, и святой да освящается еще».

Я беру камень в руки — он горячий, он дышит, и я сжимаю его до боли в ладонях.

Странное, необъяснимое желание вернуться к мусоропроводу — вдруг Николай (откуда я знаю, что он Николай?) вернулся. Конечно, его нет! И снова я чувствую тепло камня, пульсирующее, как сердце. Я разглядываю обломок. Он никакой. Но через него я начинаю ощущать время, как оно проходит сквозь меня, теплым таким ветром. Глупости! Это от туч, которые сегодня низко-низко, но дождя в них нет.

Надо заниматься делом, а не морочить себе голову. И я кладу обломок под подушку. Зачем? Не знаю. «И земля была пожата». Эти слова прозвучали ясно вне меня, но и во мне тоже. Они тоже из Откровения? И уже обычная, без этих своих видений и фантазий, я сказала себе: «Должен же когда-то кончиться этот бардак, если люди уже лечатся кипятком, снегом, землей и травой».

Вахид... Я вижу, как он лежит на земле. Живой, мертвый? Я снова хватаю в руки обломок и жду от него ответа. Но он не отвечает. В постклимактерическом периоде, говорю я камню,

случаются наскоки приближающегося маразма. Мне кажется или он на самом деле смеется? И почему-то я знаю, что это смеется Вахид.

Где-то в России...

Главное слово сказал дедушка Вахид. До того пили чай со свежим вареньем из абрикосов, и он смеялся, видя, как растет куча косточек для будущей игры, и побеждал внуков в попадании в цель — фанерку от посылочного ящика — этими косточками. А потом прямо в разгаре игры сказал серьезно и тихо:

— Надо продавать дом и уезжать.

Бабушка Патимат вскрикнула, вскочила и замахнулась на него своей ситцевой косынкой.

Он взял косынку и как-то нежно стал складывать ее во все меньшие и меньшие треугольнички.

Никто не знал, что дед уже написал письмо в Забабашкино, где под Москвой еще с войны жил его старый кунак Саид. Он был Герой Социалистического Труда, и лучшего железнодорожного мастера, может, и во всей стране не было. Он остался под Москвой после ранения, женился на медсестричке, вот ему-то и написал дед недавно письмо. «Прими детей и женщин, у нас тут дело идет к плохому». Он честно перечислил

людей. Сноха Лейла, жена старшего сына Салмана, со старшими мальчиками, близнецами по пятнадцать лет, и девочкой Тamarой — на два года моложе. Еще жена меньшего сына украинка Олеся с маленьким Тимурчиком, только-только пошел малыш ножками. Ну и, конечно, его старуха Патимат с ними, куда ж ее девать? Хотя она сопротивляется. «На старости, — говорит, — не расстаются». Сын Саида Ахмет, который служит на Кавказе, берется их сопровождать, так как на дороге стало шумновато, а он как никак командир русской армии. Получалось немало, но речь ведь шла о недолгом времени, пока все перебузится. «После Афгана все устали. Большой войны не будет, — писал Вахид. — Русские изболелись». Ответ пришел телеграммой: «Пусть едут».

Железнодорожник Саид оглядел свой хорошо слаженный двор и, пока суд да дело, привел в порядок дышащую на ладан летнюю, еще послевоенную кухню, в которой начиналась его жизнь с Фатимой. Женщин он, конечно, возьмет в дом, а мальчишкам придется пожить как бы в военных условиях. Он боялся жены: с одной стороны, у нее порок сердца, но норов есть тоже, еще неизвестно, как она на все это посмотрит. Он, конечно, с ней посоветовался, но соврал, что кунак кончает строить свой дом, шум, гам, пыль, а тут

маленькое дите, да и девочка Тамара пусть с мальчиками Москву посмотрят. Это дело для культурного развития обязательное.

В разводах побелки старенькая кухня ждала гостей, Фатима согласилась с необходимостью культурного развития, в их роду уважали стремление учиться, достала из сундука пестрые занавески, которые очень любила и держала бы на собственных окнах, но дочь, которая с мужем-военным приезжала только в гости, и то не часто, так вот дочь сказала, что занавески у нее — деревня деревней, а нужен тюль, и не какой-нибудь, а с набивным узором. Как сказала, так и сделала. Сама купила, сама повесила. Красиво, ничего не скажешь, но цветастенькие такие были милые, и так приятно — что взяли и пригодились.

Конечно, что ни говори, Саид и Фатима больше всего ждали Ахмета. Сын прошел Афган, теперь на Кавказе.

...Но при встрече все получилось как-то не так. Ахмет не приехал, и мальчишки тоже. Приехали девочка Тамара с матерью Лейлой, Олеся с Тимуром и бабушка Патимат. Старый кунак, помнивший и войну, и высылку, слышал по радио, что чеченцы будто бы сами взрывают свои дома и бензоколонки, выдавая это за русские нападения. «Какая дурь», — думал он. Он ушел в горницу, чтобы не видела жена, и плакал в козий шарф,

который связала ему еще покойная мать от хронического бронхита, что обострялся зимой, когда он сутками не выходил из депо, потому как не умел работать плохо. Он плакал, потому что понял, что Вахид ошибается, — война началась, и теперь потекут с Кавказа люди.

Утром на вокзале Лейла рыдала ему в грудь из-за мальчишек, которые сказали, что не покинут родину, которую надо защищать, и останутся с отцом и дедом. Олеся же была в трауре, но не плакала, лишь прижимала к себе Тимура и только временами вскрикивала, как кричит подстреленная птица. Патимат что-то пошептала Саиду, тот так побелел лицом, что маленький Тимур посмотрел на него удивленными черными глазами, потому что еще был полон блаженства. Он помнил, как жил в большом детском аквариуме вне пределов этой земли и этого времени. Крохотные головастики детей плавали в абсолютной защите, им было тепло, сытно, весело, но весело не умом, которого у них не было, а комочком прозрачного тела, такого хорошенького, если присмотреться. Но никто не присматривался — у тех, кто следили за аквариумом, или, как называли их, мамочников, были другие задачи. Они отслеживали знак, что приходил искрой, от которого мамочник вытягивался в трубку, и через малюсенькую щель в конце трубы выходил один из тех, кому пришел

срок. Он летел на искре в темноте вечной ночи, и не дано было знать, где ждало его место посадки. У этого места было много неведомого для него — вкус, запах, было касание (о! оно было самым изумительным. Но опять же это мы говорим своими словами. А какие слова рождает душа, прилепившаяся к маленькому, только что возникшему человеческому зародышу, нам неведомо). Он вошел в новый мир, услышал шум сердечка, и это превратило не имеющий имени комочек в человека. Теплое прекрасное место зажило жизнью сотворения и смысла, и женская рука взяла мужскую, и положила в самый низ живота, и сказала: «Он где-то там». Пальцы мужчины погладили живот, задевая пушистое лоно, но женщина сказала: «Сегодня больше не надо».

И они обнялись, и мужчина касался нежного гибкого тела женщины, ему хотелось войти в нее еще и еще, но она первый раз за целый месяц оглушительных ночей отказала ему нежно, но твердо. «Она не сказала бы зря», — подумал мужчина и замер от счастья, клянясь сделать женщину и того, кто был в ней, самыми счастливыми на земле.

Тимур родился весной, удивительно ранней даже для их краев. Все набухало, возбуждалось к жизни, земля пахла так, что ее хотелось нюхать, трава выползала с, казалось бы, навсегда

затоптанных мест. Его так любили, что он стал улыбаться раньше других детей. Из рук мамы он переходил в руки бабушки, а от нее попадал в самые лучшие руки на земле. Это были руки двоюродной сестры Тамары. Летом его вывозили в коляске во двор, и он узнавал новые звуки: как визжит пила и как стучат молотки, как пронзительно до мурашек режется стекло, как ухают сваи и как скрипят доски на новом крылечке.

Он не понимал, что это строится дом для него. Не понимал, зачем надо было уезжать из этого замечательного места. На вокзальной площади, куда он попал, пахло совсем иначе, другими были звуки и голоса, было как-то не так, но рядом шла мама, а мама — это счастье.

Его отец Шамиль, до того как стать отцом, был в армии, потом слегка — года три — помотался по свету, пока не привез в родительский дом необыкновенной красоты украинку со странным для их мест именем Олеся. Красота сама собой сняла все вопросы языка и веры, хотя через дорогу от родного дома терпеливо ждала Шамиля крупная и деловая Эльвира. Врач по женским болезням, она могла и рану от неловкой работы зашить, и смазать горло керосином, когда антибиотиков под рукой не было. Эльвира стерпела армию, и гулянье по стране, потому что любила отца Тимура так, как не

любила Ромео Джульетта. И не каких-нибудь несколько дней или там месяц, а уже больше десяти лет, если считать с пятого класса. Ну, вот и прикинь. Школа, институт, работа. И каждый день — каждый! — первый взгляд из окна — во двор напротив. Не слышно ли голоса родного?

А потом услышала. Женский. Певучий, таких у них не было. Выскочила чуть ли не в чем была, а та стоит. Тонкая, звонкая и косы. А кто в наше время их носит? Отрезают и продают парикмахерам. Вот и у Эльвиры химия, баран бараном. Но считается — красиво. А тут косы ниже попы и внизу колечком. Одна такая на весь Грозный будет. А за спиной стоит тот, кого она ждала уже не десять, а одиннадцать с половиной лет, обнимает эту, с косами, и кричит Эльвире, которая стоит почти ни в чем:

— Приходи знакомиться. Жена моя. Олеся.

Эльвира (все-таки высшее образование) кивнула химической головой и рванула в дом, и там в зеркале увидела себя всю: лохмато-черную, в длинной цветастой сорочке, на которую она набросила павловопосадский платок бабушки, босые ноги с грубыми ногтями, имеющими странность расти вверх. Она кинулась головой в постель и завывала, как раненая волчица. Из летней кухни прибежала мать и все поняла. Она достала очень старую книгу ворожбы и сказала дочери

категорически: «Я знаю, я уже смотрела. Там не будет счастья. Я заложила страницу. Читай сама. Он приползет к тебе совсем скоро. Потерпи. Только больше не завивай волосы. Пусть растут вольно. Он твой по закону высшего неба, где строится жизнь на века, а не на какую-то там пятилетку».

И Эльвира приготовилась ждать терпеливо еще год, два, три года, потому что свято верила и матери, и старым книгам. Ее пугало только слово «приползет». Так ей не надо, ползком. Она будет ждать его высокого и красивого, и он войдет во двор и снимет шапку, и скажет: «Я пришел навсегда». Мысли об Олесе не было. Она исчезла из мыслей сразу, будто растворилась в пространстве. Как? Да мало ли как? Разве ей место тут с этим ее чужим голосом? Но однажды Эльвира увидела в освещенном окне, как Шамиль стоял на коленях перед животом тоненькой женщины и целовал его по кругу слева направо, а потом наоборот, а потом снова и снова...

— Не смотри, — говорила ей мать, — еще не вышло время.

И Эльвира уходила в спальню и падала лицом в подушки, умирая от страсти. Пусть бы хоть раз пришел, тайком. Трогать жену ведь сейчас нельзя. Эльвира сжимала свое воспаленное лоно и выла, выла, выла... Приходила мать, и стегала ее скрученным мокрым полотенцем по блудливым

рукам, а потом несла ей чистое белье, и пока она переодевалась, мать говорила, что она родит много детей от Шамиля, и это будут настоящие чеченцы.

Шло время, родился Тимур, и стоял уже новый дом, Тимурчик начал ходить, и все его обожали, особенно двоюродная сестра Тамара. Олеся пополнела и косы теперь закручивала на затылке, была хорошей женой. «Какая женщина! — цокали чеченские мужчины. — Царица!» Олеся смущенно улыбалась, как умеют улыбаться только славянки. Она родилась после войны и после Сталина и других каменных вождей, и потому верила, что уже не будет горя вот такой ширины и такой глубины. Она живет у мужа как цветок, а сын у нее — просто счастье. «Дытыночка моя!» — шептала она ему в ухо, когда он спал, шептала едва слышно, чтоб не разбудить. Слава Богу, никаких проблем с языком, чем особенно пугала полтавчанка-мама, не было. Все были двуязыкие. И она потихоньку учила чеченский, хотя нужды в этом не было.

Утром на стареньком «Москвиче» уезжал Салман в Грозный, где работал в университете. Дети шли учиться, Шамиль — на электростанцию. Лейла, жена Салмана, — в школу, где была завучем. Олеся оставалась с дедушкой Вахидом и бабушкой Патимат. Обед готовился на две семьи, поэтому там, где полагалось быть забору, стоял

большой деревянный стол с лавками, и общая трапеза вечером была лучшим временем для разговоров на все темы.

Здесь и сейчас

Я мою чашки после ужина. «Тамань, — слышу я, — самый скверный городишко их всех приморских городов России». Что это со мной? Говорю вслух? Нет, я молчу. Я *слышу*. Говорит мужчина, который не соглашается с Лермонтовым, потому что проходил в Тамани практику и любил сидеть там на камнях у самого моря, как на носу корабля, и в каждой девчонке видел Ундину, и этого миража ему хватало для любви к неказистому городку.

Вообще видение, мираж, говорил мужчина, это не ерунда, это знаки живого неба, которое смотрит на нас, то удивляясь нам, то возмущаясь. Ведь это же дурь — подозревать, будто мы лучшее, что придумал Аллах. Посмотри на карагач — сколько достоинства, и никакого зла никому. А уж конь... Царь!

Я стою замерев. Голос исчез, но остался запах чая (а у меня кофе), женские неясные голоса... И еще голубая ниточка, она идет от меня, из меня, мимо меня, и я спокойно отодвигаю ее ладонью. Она — никакая, она — тоже мираж. Я понимаю,

что камень и эта паутинка — единое целое.

Утром я решаю выбросить камень. Господи, что мне мало проблем с реальной жизнью? Промокают сапоги, у мужа болит спина — остеохондроз, ночью он стонет от боли. Сын звонит редко. Я понимаю, дорого — заграница, но каждую минуту смотрю на телефон. Так вот, я иду выбрасывать камень, паутинка как бы цепляется за телефон, и я слышу голоса внуков, родные голоса на чужом языке. И бас сына. Русский бас, воспитывающий детей. Я сержусь на сына за раздраженный тон и тут же звоню сама, хотя они все в сборах на работу, в детский сад. Мне же было сказано: «Мамуль! Звони, но только не утром. Утром мы в мыле».

Я кладу трубку. Я ведь уже знаю, что все в порядке, зачем мне электрическое подтверждение, когда есть у меня другое? И все-таки, все-таки... Надо бы сходить к невропатологу. Но, боже, какая она дура, наш невропатолог! Она будет говорить, что при Сталине мы были все здоровы, человек не раздваивался и растраивался на число партий, на количество мнений. Это вредно и опасно — расчленение, мысль должна быть одна. Мысль — стержень. Знала бы ты, дура, что мысль — голубая паутинка, она из ничего, но она все. И ладно, и пусть, пусть я буду сумасшедшая. Никуда не пойду.

Я ложусь на подушку. Она горяча. Я трогаю

свой обломок, он прерывисто дышит. И я слышу, как где-то далеко-далеко стреляют... Это в том дворе пахнет чаем и идут разговоры о разном, то о Лермонтове, а то о месячных у какой-то Тамары.

Кто ты, обломок? Зачем ты мне?..

Где-то в России...

Месячные у Тамары были не по правилам бурными — она даже не заметила, встала из-за стола, а все платьишко сзади в крови. Женщины загородили девочку и увели в дом, а мужчины говорили про свое. «Срам, — говорит дед. — Сколько полегло в Афганистане, а надо было англичан спросить, прежде чем лезть туда». «Идиоты. Они в Кремле идиоты», — говорил Шамиль. А мальчики на улице играли в будущую войну, потому что без войны жизни не бывает. Так что ж они — не мужчины? Им ведь уже по пятнадцать лет.

А потом в дом вошла Эльвира, вызванная по случаю Тамариных кровей, а бабушка сказала ей тихо: «Все хорошо. Пришла у девочки пора». Тимур тогда некстати обкакался. Мальчишки заткнули носы, дедушка понес ребенка обмывать, он обожал это делать, а женщины внимательно слушали Эльвиру, любившую выступать — хотя бы и перед тремя-четырьмя людьми. Она сразу

повышала тон и гордо подымала голову.

— Циклические изменения в матке и яичниках завершаются выделениями крови из половых органов.

— Спаси ее, Аллах! — вздохнула бабушка.

Тамара же поднялась и звонко сказала, что их классная руководительница еще в прошлом году собирала девочек и все про все им объяснила. Эльвира оскорбилась сравнением уровня знаний своих и какой-то там классной. Женщины уже вовсю чирикали, предлагали Эльвире чаю. Но не тот Эльвира человек, чтобы покупаться на первое же угощение. «Мне еще главу надо дописать», — сказала она. И все замолкли, зная, что она пишет кандидатскую, что научный руководитель у нее в Ростове очень суровый господин, но Эльвиру обожает за ум и за красоту. Последняя была тут ни при чем. Это легенды матери-ворожеи каждый раз дополнялись все более красочными деталями отношений дочери с руководителем. Ведь главное, чтобы об этом узнал Шамиль, но тому все было как до электрической лампочки. Скажем так, он был даже невежлив, когда при нем расписывались достоинства Эльвиры. Ну, к чему они ему, люди? Если бы знала Эльвира, что напрасно она отращивала себе волосы и ходила на специальное выпрямление химически подкрученных локонов. Сколько времени прошло, а они как свились в

колечко, так и не развились, хоть стригись наголо. Вот защитится и совсем изменит прическу. Шел девяносто четвертый год. Вокруг постреливали, но было еще как-то непонятно. Иногда Эльвиру охватывал стыд своего ожидания. Разве она из тех, кто разрушает семью? Да ни за что! А желать смерти Олеси? Да лучше она бросится с горы. Но мать тыкала ее носом в черную книгу, и дурные мысли возвращались и вили свое непонятное гнездо. Тут-то и начались бомбежки.

И однажды в доме напротив бомбой разрушило хлев, и от него ярко, как на праздник, загорелась сухая старая груша, спилить которую у хозяев все не доходили руки.

Вот тогда и было послано письмо Саиду, и семья снялась с места, а кунак, ожидая земляков, ходил по своему подворью, ища непорядки: все-таки свои люди едут, и некрасиво будет наткнуться им на кривую ступеньку или выщербленный пол под печкой. Он готовился к большому застолью для семьи друга, но на вокзале встретил старуху, двух растерянных женщин-невесток, а девчоночка-школьница держала за руку ребенка. Старый Саид завертел головой: может, из другого вагона выйдут Ахмет и мальчики, но старшая невестка Лейла сказала: «Ахмета не жди.

Его непустили». И тут же стала выть ему в

грудь.

— А мальчишки? — спросил Саид.

— Мальчишкам уже пятнадцать. Они уже воины.

Потом люди рассказывали, как кричал уже Саид. В крике не было слов, это кричал раненый зверь, который все понял от начала до конца и голосом боролся даже не за жизнь, а за достойную смерть. Вместе с голосом его из горла, растерзанного в прошлую войну, потекла кровь. Возможно, что кровь и кричала.

Возле Саида остановился милиционер, и кончилось бы все скверно, не увидь служивый звезду на груди старика.

— Ты, батя, того... Замолкни... Ты ж не вепрь какой... Тут же дети...

Саид замолчал сразу. Не из-за испуга, что возьмут в милицию, а вот эти слова — «тут дети» — не просто остановили крик, они его устыдили. И он повел женщин к «рафику», который взял у соседа, чтоб довезти гостей до самого дома. Сосед вымыл машину, как для себя, он уважал Саида, он удивлялся ему. Как так можно жить, чтобы ни разу не выпить, не щипнуть проходящую проводницу за удивительные места, которые имеют женщины? Его, Костю Ващенко, просто тянет к этим сладким местам, особенно если примешь одну-другую рюмку водочки. Костя видел в этом счастье жизни,

даже, если хотите, ее божественный дар ее — ведь лучше этого, баб и выпивки, — что? Да ничего. А Саид хоть и старик, но красивый, статный, да любая не то что ущипнуть, даст много больше. Он же водил по улице вечно больную жену Фатиму, а мимо шли полуголые красавицы ярославского направления и разных других мест, не шелупонь какая, а отборные бабы. А с другой стороны у Кости в душе возникало странное чувство чего-то недоступного. Будто он щенок, брошенный сдохнуть в колодце, а видит, как парит в небе птица. Понимает щенок: в слякоти колодца жить ему (или сдохнуть), а птица эта будет летать и там, и тут, а за ней будут лететь другие, и без блуда, без щипков отложат где-то тайком свои яйца, и оттуда носиком вперед через определенный срок, сырые и неказистые, шатаясь на ломких лапках, выйдут их дети, встрепенутся и полетят тоже. Красиво и, извините, без блядства. Задевали эти мысли Костю, и он (в очень большой тайне) мечтал, что вот у Саида есть сын Ахмет, служит на Кавказе, а у него, Кости, есть дочка Лариска. Она в восьмом. Вот бы склеить их, не силой, конечно, а любовью. Костя к этому относился свято. Он на первой своей — Валюхе — женился по дури, ну и пришлось бежать, как подоженному. Хорошо, что детей не осталось. А потом шла по улице Наташа, и Костя весь пошел не просто дрожью, а как говорила его украинская

бабушка, цыпками. Но это все далекое Костино прошлое. А настоящее — это вымытый до блеска «рафик», в котором приедет Саидова родня, и, насколько ему известно, Ахмет, который ее сопровождает. Тогда почему закричал Саид, что ему нашептала эта приехавшая чеченка? Может, погиб Ахмед? Но при смерти сына не замолкают, как по команде, хотя черт их знает, этих черных. Вроде и люди хорошие, но ведь есть же какой-то смысл убивать их русским? У Кости головка слабая, в ней две мысли не помещаются, одна другую выпихивает, и остается одна, для него, как для отца, единственная. Лариску учить — бесполезняк. Ее оценка — три с минусом. Ей сейчас место под законным мужиком, другого места в жизни для нее нет. Вот почему он после крика Саида больше всего обеспокоился наличием двух молодых женщин, потому как пацанка, что несла ребеночка, для родов еще не годилась никаким образом. И сядясь в «рафик», Костя тихо спросил Саида: «Это кто настрогал четвертого?»

— Это внук кунака, сын Шамиля, — Саид решил, что говорить о несчастьях на родине он не будет. — Видишь, какую красавицу он привез с Украины? — сбил Саид шофера с расспросов. — Слышал песню «Олеся, Олеся, Олеся»? Так вот, она Олеся. Хорошая женщина. Чистая, как алмаз. Шамиля в Грозном ждала врач-гинеколог, мозги

как у Маркса, — Эльвира. Но разве прикажешь сердцу? Тем более, он Эльвиру пальцем не трогал. Так, дружили через дорогу.

Саид не выдерживает и стонет, осторожно так стонет, как бы не для других, для себя. И оказывается, что и для меня.

Я ясно слышу стон неизвестного мне старика. Мой камень плачет. Нет, все-таки схожу к невропатологу. Другому. Он уже не работает. Старик еврей. Ему я могу сказать не только про голоса, не только про стоны и выстрелы. Я покажу ему камень. Только евреи такие рационалисты... Даже их великий Бродский — весь из мысли, не то что наш сердечный Пушкин. Но тут же слышу хриплый голос:

И до чего хочу я разыгаться,
Разговориться, выговорить правду,
Послать хандру к туману, к бесу, к ляду,
Взять за руку кого-нибудь: будь ласков,
Сказать ему: нам по пути с тобой...

Чей это голос? Он очень издалека, дальше стоны, дальше выстрелов, он как бы из могилы, но одновременно и из неба. Голубая ниточка трепещет? Знает Мандельштама? Идиотка, — корю я себя. Она знает все. И какой еще нужен невропатолог, если сам поэт мне сказал: «...нам по

пути с тобой».

— Ахмета не вижу, — сказал Костя.

— Он остался со всеми.

«Ё-моё, — подумал Костя, — придется мою дуру учить дальше, тем более что мозгов Маркса у нее нет точно. Бить буду заразу, но чтоб десять классов кончила хотя бы на три с плюсом. Ум, он сейчас в цене. Ум, деньги и оружие. Вот три главные вещи...» И только он приготовился развить дальше красивую мысль, как Саид сказал:

— Некоторые русские ведут сейчас себя как неумные! Только ведь с Афгана вернулись битые-перебитые, и опять за свое. Устраивают партизанщину на Кавказе. Ахмет остался там, он ведь военный специалист. Он разберется. Разве это не правильно? Как считаешь, Костя?

«Кто его знает», — думает Костя, и мысли гадкие, непотребные охватили его с такой силой, что они чуть не налетели на столб. И Саид сказал: «Ладно. Тут идти осталось двадцать метров. Мы пойдем пешком. А ты доведи нам вещи».

Только у русского человека мозги могут вмиг перевернуться задом наперед. Вот и Костя... Двадцать минут тому он восхищался соседом, дружбой с ним, хотел бы нянчить их общего внука, а сказал тот про войну и про русских, которые как бы не соображают, и Костя уже другой человек. И

именно другой, а не прежний сбрасывает узлы и чемоданы прямо на дорогу, а не то чтоб внести во двор. И так разворачивает колеса, что задевает бегущего парнишку. Рулем крутанул — только его и видели.

И уже на бензоколонке через час Костя горячо скажет, что не дело, что чечены прячут у них, русских, своих баб, что надо за это взяться и решить по уму. Взрываете свои дома, а сами претесь к русским? Это ж какой подлый кавказский ум надо иметь? Костя выпячивал грудь, будто на нее сейчас равнялся четвертый в строю, он жалел, что ему уже за пятьдесят и он списан, так сказать, до экстремальных ситуаций. Теперь он еще подумает, не та ли сейчас ситуация и не время ли идти в военкомат и рапортовать, что он готов служить родине-России, которая всех кормит и поит, и всем дает крышу, а эти черножопые занимают их диваны и постели.

...Раненный же Костей мальчишка ревел во весь голос, женщины перевязывали ему ногу, а Саид говорил, что шофер — золотой человек и не мог это сделать нарочно. Видать, что-то с машиной, да и дорога у них колдобистая. Слава Богу, кость цела, а больно — так ты ж мужчина, мальчик, держись. И мальчишка сцепил зубы, потому что к нему подошла девчонка и обняла его. Кто сказал, что любовь не может прийти к шестилетнему

мальчишке, выросшему в полунищете, на алименты отца, работавшего в таких местах, где платили даже не смешные, а издевательские деньги. И Мишка питался на пятьдесят копеек в день, что означало кусок черного хлеба, смазанного подонками подсолнечного масла, и трехдневный суп, в котором плавали обрезки кожи, жира и костей, их мать покупала на мясокомбинате у вахтера.

Так вот, легкая рука Тамары убрала и боль, и голод, и уже возросшую в нем ненависть к миру, и мальчишка понял, что всегда, на всю жизнь, а жизни оставалось чуть, он будет рядом с этой легкой рукой. И пусть над ним смеются, ему это уже все равно. Он прижался к Тамаре, и та стала шептать ему какие-то непонятные слова. Это были слова «Мцыри», которые Тамара выучила не по программе, а по сердцу. И не было для нее ничего лучше, чем ходить по саду, смотреть на горы и читать звонко и гордо:

Кругом меня цвел божий сад,
Растений радужный наряд
Хранил следы небесных слез,
И кудри виноградных лоз
Вились, красуясь меж дерев
Прозрачной зеленью листов.
И грозди полные на них,
Серег подобье дорогих,